

Моему отцу

В душе я — джентльмен.

Марлен Дитрих

Сцена первая



ШКОЛЬНИЦА

1914 – 1918 годы

*К своему рождению я не имею
никакого отношения.*

Глава 1

Впервые я влюбилась, когда мне было двенадцать.

Это случилось в школе Августы-Виктории в Шёнеберге, пригородном районе к юго-западу от Берлина. За экстравагантным лепным фасадом приземистого здания, защищенного от внешнего мира коваными железными воротами, скрывался кроличий лабиринт холодных классных комнат. Здесь я изучала грамматику, арифметику и историю, далее следовали занятия по домоводству и час укрепляющей гимнастики, а заканчивался длинный учебный день весьма поверхностным уроком французского.

Школу я недолюбливала, но способности тут были ни при чем. В детстве моим образованием занимались гувернантки; правда, в основном их внимание получала из-за слабого здоровья моя старшая сестра-погодок Элизабет; в семье ее звали Лизель. Английский и французский, уроки хороших манер, танцы и музыка значились в нашем распорядке ежедневно, и мать требовала безупречного освоения этих предметов. Будучи лучше многих других подготовленной к строгостям обучения, школу я не выносила, потому как не уживалась с одноклассницами, терпеть не могла их перемазанные

джемом пальцы и вечные секреты. Все они были давно знакомы друг с другом, а меня за робость прозвали Мышью, не догадываясь, что «робость» — это последнее слово, которое мать использовала бы для описания моих личных качеств.

Никаких жалоб она выслушивать не желала. Мне было шесть лет, когда от остановки сердца умер папа. Необходимость жесткой экономии возникла вслед за нашим горем. Приличия должны соблюдаться. Как ни крути, а вдова Йозефина Дитрих происходила из уважаемого берлинского семейства Фельзинг, основателей знаменитой компании по производству часов «Фельзинг», которая уже более сотни лет осуществляла свою деятельность по имперскому патенту. Мама отказалась воспользоваться помощью семьи, хотя страховой суммы, выплаченной по случаю смерти отца, служившего лейтенантом полиции, хватило ненадолго. Гувернантки, как непозволительная роскошь, исчезли сразу после похорон. Мама нанялась к частному лицу управляющей. Для Лизель, из-за ее смутно диагностированного недомогания, она установила расписание учебных занятий на дому. Меня же втиснула в жесткую серую форму и лакированные ботинки, сдавившие пальцы, разделила волосы надвое и заплела косы, увенчав их гигантскими бантами из тафты, — после чего отвела в школу, где беспорочные старые девы должны были повлиять на мой характер.

— Веди себя хорошо, — увещевала мать. — Следи за своими манерами и делай, что велят. Это ясно? И

чтобы я не слышала, что ты хвастаешься. У тебя масса преимуществ перед другими, но ни одна из моих дочерей не должна задаваться.

Ей ни к чему было беспокоиться. Дома мне часто выговаривали за владевший мною дух соперничества — вечное стремление в чем-либо превзойти Лизель. Но, ступив на школьный двор, я сразу поняла, что лучше не высовываться и делать вид, будто почти ничего не умею. Меня потрясли племенные клики и подозрительные взгляды сплоченных одноклассниц. Никто не мог допустить, что я имею более чем зачаточные представления о всех предметах, включая французский — язык, который любая благовоспитанная девушка из приличной семьи должна была учить, но ни одна немецкая благовоспитанная девушка не должна была знать слишком хорошо, так как он, со своим грассирующим «эр» и обольстительным «эс», нес в себе намек на запретное. Чтобы отвлечь от себя внимание, я, изобразив безразличие, заняла свободное место за последней партой в дальнем конце класса и затаилась, как мышь, что прячется у всех на виду.

До того самого дня, когда появилась наша новая учительница французского.

Из ее кички выбивались пряди орехового оттенка, а круглые щеки горели, будто она стремглав неслась по коридору, опаздывая на урок, как и было на самом деле. Прозвенел звонок, и девочки, сдав вырванные из прописей листки с нацарапанными упражнениями, столпились в проходах пошущукаться.

Вдруг в класс влетела она, долгожданная замена мадам Сервен, которая так неудачно упала, что это спровоцировало ее выход на пенсию. Над бровями новой учительницы выступили капельки пота от необычной даже для июля жары. Она грохнула на стол принесенные книги — и все девочки вскинулись и сели прямо.

Мадам Сервен не терпела промедлений. Многие здесь были знакомы с резкими ударами ее линейки по коленкам или костяшкам пальцев за поведение, которое мадам считала дерзостью. А эта устрашающая молодая женщина с растрепанными волосами и кипой увесистых томов в руках вполне могла оказаться столь же грозной.

Со своего привычного места на галерке я смотрела поверх плеч сидевших впереди учениц туда, где, утирая лоб платком, стояла француженка.

— Mon Dieu, — сказала она, — il fait si chaud¹. Я не думала, что в Германии будет так жарко.

В животе у меня заурчало от возбуждения.

Никто не произнес ни слова. Небрежным жестом она засунула влажный платок под манжету блузки.

— Bonjour, mesdemoiselles². Я мадемуазель Бреган, ваша новая учительница до конца семестра.

Представляться было необязательно. Мы и так знали, кто она, ждали ее уже несколько недель. Пока школа подыскивала замену мадам Сервен, час французского превращался для нас в бесконечную зубрежную сессию под надзором язвительной фрау Беккер. От ясно различимого акцента нашей новой

наставницы тишина в классе лишь сгустилась. В ее голосе безошибочно угадывалась парижская напевность, и я почувствовала, как девочки вокруг меня скривились. Мадам они называли l'ancien Regime³ за лорнет и клацание зубного протеза при произнесении accents graves⁴, а еще за черное платье с высоким воротником, какие носили на рубеже столетий. А эта женщина была одета в блузку с воротничком и манжетами, отороченными кружевом. Стройную фигуру подчеркивала модная юбка длиной до лодыжек, из-под которой виднелись симпатичные ботиночки. Намного младше мадам, эта мадемуазель определенно могла проявлять большую энергичность.

Я слегка расправила плечи и выпрямила спину.

— Allez, — произнесла учительница. — Ouvrez vos livres, s'il vous plait⁵.

Девочки не шелохнулись. Я потянулась к учебнику, а мадемуазель объяснила по-немецки:

— Ваши тетради. Пожалуйста, откройте их. — (Я подавила усмешку.) — Сегодня мы поспрягаем глаголы, хорошо? — продолжила она и обвела взглядом класс.

Никто не отреагировал. Ни одна не потрудилась заглянуть в учебник с тех пор, как мадам столь своевременно оставила работу. Им до французского не было дела. Судя по нескольким подслушанным разговорам, целью их жизненных устремлений было скорейшее замужество, чтобы отделаться от родителей. Kinder, Küche, Kirche: дети, кухня, церковь. Это была единственная амбиция, которую внушали

всем немецким девочкам, так же как нашим матерям и бабушкам. Какой прок от французского, к чему его приспособить? Разве что кому-нибудь не посчастливится выйти замуж за иностранца.

Мадемуазель Бреган наблюдала за нетерпеливым перелистыванием страниц, не зная, что сказать, или не желая комментировать отчаяние, сквозившее в движениях учениц. Пренебрежение домашней работой было проступком, соблазнительным и пугающим для каждой. Мадам славилась своей манерой заставлять учиться: не выпускала из-за парты до самой ночи, пока провинившаяся не выполнит задание либо не упадет от усталости.

Но вдруг — я глазам не поверила — лицо мадемуазель осветилось озорной улыбкой. Это было так неожиданно в нашем смиренном доме, где учителя нависали над нами, как вороны, что от тепла этой улыбки я остолбенела, а водоворотик эмоций в моем животе превратился во взбитые сливки.

— Давайте начнем с глагола «быть», — произнесла учительница, склонив голову набок. — Etre: je suis, je serai, j'étais. Tu es, tu seras, tu étais. Il est, il sera, il était.

Nous sommes, nous serons, nous étions...⁶

Она мерила шагами узкие проходы между рядами и вслушивалась в ни на что не похожие звуки, изуродованные хоровой декламацией. Усилия учениц выглядели жалкими и являли свидетельство нерадивости и отсутствия всякого почтения к языку, но мадемуазель Бреган никого не поправляла, лишь повторяла спряжение, подавая пример для

подражания.

Так она дошла до моей парты. Остановилась. Подняла руку. Девочки притихли. Зафиксировав на мне янтарно-зеленый взгляд, учительница сказала:

— Repetez, s'il vous plait⁷.

Мне хотелось, чтобы моя речь прозвучала так же ужасно, как у остальных, лишь бы меня не выделили. Но язык не послушался, и я сбивчиво залепетала:

— Vous etes. Vous serez. Vous etiez⁸.

В ушах пощечиной прозвучал сдавленный смешок соседки.

Теплая улыбка вернулась на уста мадемуазель. На этот раз, к моему смущению, но и к радости, обращена она была ко мне.

— И остальное?

Я шепотом проговорила:

— Vous soyez. Vous seriez. Vous futes. Vous fussiez⁹.

— А теперь используйте этот глагол в предложении.

Я в раздумье прикусила нижнюю губу, а потом выпалила:

— Je voudrais etre connue comme personne qui vous plaise¹⁰, — и немедленно пожалела о сказанном.

Что овладело мною, заставив произнести слова столь... столь откровенные, столь дерзкие? Столь неестественные для меня.

Не смея поднять глаз, я почувствовала на себе пристальные взгляды. Девочки могли и не понять, о чем речь, но моей интонации было достаточно.

Я сбросила с себя маску.

— Oui, — сказала мадемуазель. — Parfait¹¹.

Она двинулась вдоль прохода, повторяя фразу, чтобы ученицы следовали образцу. Я сидела, примерзнув к месту, пока кто-то не ткнул меня пальцем под ребра. Повернувшись, я увидела темноволосую худенькую девочку с личиком эльфа.

— Parfait, — подмигнув, прошептала она. — Превосходно.

Такой реакции я и не предполагала. Думала, одноклассницы дождутся последнего звонка, подкараулят меня за воротами и отлупят за то, что я их надула и пыталась подлизаться к новой учительнице. Однако в лице моей соседки, насколько я смогла заметить за краткий миг нашего общения, не было ни негодования, ни злости. Скорее, на нем отобразилось... восхищение.

После того как наша наставница дала задание на дом и девочки вереницей потянулись к выходу, я попыталась проскользнуть мимо учительского стола и была уже почти у двери, когда услышала:

— Мадемуазель, подождите, пожалуйста.

Я остановилась и с опаской обернулась через плечо. Ученицы проталкивались мимо меня, одна из них насмешливо бросила:

— Мышка Мария вот-вот заработает свою первую золотую звезду.

Я осталась одна под задумчивым взглядом мадемуазель Бреган. Вечернее солнце проникало в класс сквозь пыльные окна и подсвечивало отливавшие медью волосы учительницы, собранные в

неаккуратный узел. Кожа у нее была розовая, с нежным пушком на щеках. Колени мои ослабели. Я не понимала, зачем сказала то, что сказала, но у меня было тревожное чувство, что ей-то это ясно.

— Мария? — вопросительно повторила она. — Тебя так зовут?

— Да. Мария Магдалена, — с трудом выговорила я из-за сильного волнения, сдавившего горло. — Мария Магдалена Дитрих. Но я предпочитаю... В семье все называют меня Марлен. Или Лена, для краткости.

— Хорошее имя. Марлен, ты прекрасно говоришь по-французски. Учила язык здесь? — Не успела я ответить, как она рассмеялась. — Конечно, это не так. Все остальные: *C'est terrible, combien peu ils savent*¹². Тебе нужно быть в другом классе. Ты намного опережаешь их.

— Пожалуйста, мадемуазель. — Я прижала сумку к груди. — Если директриса узнает, она будет...

— Что? — вскинула голову учительница. — Что она сделает? Уметь говорить на другом языке — это не преступление. Ты будешь напрасно терять здесь время. Разве не лучше потратить этот час на то, что действительно можешь выучить?

— Нет. — Я еле сдержала слезы. — Мне... мне нравится учить французский.

— Понимаю. Хорошо. Тогда посмотрим, что можно сделать. Твой секрет я не выдам, но за других не ручаюсь. Они, может, и нерадивы, но не глухи.

— *Merci, Mademoiselle*¹³. Я буду очень стараться, вы увидите. Я хочу всегда радовать вас.

Это была стандартная фраза, за которой следовал неловкий реверанс. Делать так меня научила мама — по воскресеньям после церкви мы совершали светские визиты к почтенным вдовам, они приглашали нас на чашку горячего шоколада и штрудель.

Я устремилась к двери, чтобы поскорее скрыться и от светящихся весельем глаз мадемуазель Бреган, и от собственной порывистости.

За спиной раздалась ее слова:

— Марлен! Ты меня радуешь. Очень радуешь.

¹ Боже мой, какая жара (фр.). — Здесь и далее примеч. перев.

² Добрый день, мадемуазели (фр.).

³ Старорежимница (фр.).

⁴ Аксан грав — диакритический знак, который ставится над гласной и обозначает открытый звук.

⁵ А теперь начнем. Откройте, пожалуйста, ваши книги (фр.).

⁶ Я есть, я буду, я был. Ты есть, ты будешь, ты был. Он есть, он будет, он был. Мы есть, мы будем, мы были... (фр.)

⁷ Повторите, пожалуйста (фр.).

⁸ Вы есть, вы будете, вы были (фр.).

⁹ Вы будьте. Вы были бы. Вы были. Чтобы вы были (фр.).

¹⁰ Я хотела бы, чтобы меня знали как человека, которому вы симпатичны (фр.).

¹¹ Да. Отлично (фр.).

¹² Это ужасно, как мало они знают (фр.).

¹³ Спасибо, мадемуазель (фр.).

Глава 2

Домой я неслась вприпрыжку, размахивая сумкой. Пересекая трамвайные пути и уворачиваясь от уличных торговцев, которые выкрикивали цены товаров, я не замечала ничего, в голове у меня звучал ее голос, как эхо среди мягкого шуршания листвы лип, выстроившихся вдоль тротуара.

Ты меня радуешь. Очень радуешь.

Я взбежала по растрескавшимся мраморным ступеням к нашей квартире в доме номер тринадцать по Тауэнтцинштрассе, без слов напевая что-то себе под нос, бросила сумку на столик в прихожей и вошла в безукоризненно чистый кабинет, где, сгорбившись над учебниками, сидела Лизель. Она подняла взгляд, вид у нее был такой изнуренный, будто она не вставала со стула уже несколько недель.

— Der Gouverneur¹⁴ здесь? — спросила я и протянула руку к тарелке с последним куском штруделя, которая стояла сбоку от сестры.

Неодобрительная складка глубже залегла между бровями Лизель.

— Ты не должна так называть маму, это неуважительно. И ты сама знаешь, что по вторникам она допоздна работает в резиденции фон Лошей.

Вернется к семи. Лена, возьми тарелку, а то крошишь повсюду. Горничная только что ушла.

Я наклонилась к потертому ковру, подобрала несколько крошек, ткнув в них пальцем, и облизала его:

— Вот так.

— Лучше бы взяла швабру.

Пришлось пойти на кухню за шваброй, хотя в этом не было никакого смысла. Мама все равно заново подметет ковер, когда мы ляжем спать, а также вымоет и натрет воском пол. Она никогда не уставала от уборки, невзирая на то что целыми днями делала это для других. За четыре месяца она выгнала столько же служанок, объявив их ленивыми неряхами. Увольнения происходили с такой частотой, что мы с Лизель больше не старались запомнить имя очередной горничной.

Продолжая мурлыкать какую-то песенку, я пошла в гостиную, где стояло маленькое фортепиано и лежала скрипка. Оба инструмента требовали безотлагательной настройки. Скрипку подарила мне на восьмилетие бабушка Ома, после того как домашний учитель музыки убедил маму, что у меня талант. Хотя он отправился вслед за гувернантками, я не перестала заниматься. Музыка я любила, у нас с мамой это был один из немногих общих интересов; в детстве она много лет брала уроки и стала искусной пианисткой. Мы часто играли вместе после ужина, и сейчас я нашла на крышке фортепиано этюд Баха, который мама оставила мне для разучивания.

Когда я положила скрипку на плечо, Лизель сказала: — Ты сегодня в редкостно хорошем настроении. Что-нибудь особенное случилось в школе?

— Ничего.

Я покрутила колки, желая сберечь изношенные струны. Мама купит новые мне на день рождения, но до декабря еще далеко, так что пока надо постараться обойтись этими. Я провела смычком над кобылкой, раздалось неблагозвучное дребезжание.

— Ничего? — усомнилась Лизель. — Ты никогда не возвращаешься домой с улыбкой. И никогда не начинаешь заниматься прямо с порога. Что-то должно было случиться.

Я стала играть сонату, морщась, когда потертые струны отказывались повиноваться.

— У нас новая учительница французского, — призналась я. — Ее зовут мадемуазель Бреган.

Лизель притихла, следя за моей игрой. Я всего раз или два заглянула в ноты. Несмотря на дряблость струн, этот отрывок я запомнила. Мама будет гордиться мной.

Потом сестра спросила:

— Ты так счастлива из-за появления новой учительницы? Что-то подозрительно. Ты же ненавидишь эту школу. Всегда говоришь, что учителя там сварливые старухи, а девочки болтают ни о чем. Признавайся немедленно. Ты познакомилась с мальчиком?

Смычок соскользнул со струн, концентрация была утрачена. Я уставилась на Лизель, не веря своим

ушам, и фыркнула:

— Где бы я могла с ним познакомиться? В моем классе одни девочки.

— Но ты каждый день ходишь домой пешком и видишь мальчиков на улице, — сказала сестра серьезно и даже немного сердито.

— Те мальчики, которых я вижу, гоняют бродячих собак и носятся вокруг, как хулиганы. Я с ними не знакомлюсь, а обхожу стороной.

Мне хотелось добавить, что если она так интересуется мальчиками, то ей надо чаще выходить из дому, но проглотила свою колкость, ведь Лизель не виновата, что у нее слабые легкие, или вялые сосуды бронхов, или что-то там еще, чем она сейчас была больна. Мама постоянно суетилась вокруг нее, что, по моему мнению, ничуть не помогало. Однако факт оставался фактом: моя сестра была «хрупкой» и безропотно вверила себя этому состоянию.

— Я спрашиваю просто потому, что беспокоюсь, — пояснила она. — Мне вовсе не нравится совать нос не в свое дело, но тебе в этом году исполнится тринадцать, ты почти взрослая, и мальчики — ну, они имеют склонность к...

Ее голос смолк. Стало как-то неуютно. Я снова взялась за скрипку и задумалась о сказанном сестрой и еще сильнее о том, чего она недоговорила.

Опыт Лизель в общении с противоположным полом был зеркальным отображением моего. С момента смерти отца единственным мужчиной, которого мы видели регулярно, был наш берлинский дядя Вилли.

Но это не в счет, потому что мы с Лизель не были особенно близки, как следовало бы быть родным сестрам. Однако и не враждовали — спали в одной комнате, ссорились редко, но темпераменты у нас были настолько разные, что даже мама не раз отмечала это. Физические отличия бросались в глаза. Лизель была худая и бледная, как тусклая лампа во тьме, с отцовским землистым цветом лица. Я же унаследовала от матери пухлую комплекцию, голубые глаза, вздернутый нос и полупрозрачную кожу, которая становилась свекольно-красной, если я проводила слишком много времени на солнце. Но наши различия простирались гораздо дальше внешности. По мере взросления я начинала понимать, что моя сдержанность на людях была скорее следствием воспитания: мама внушала мне, что именно так должна вести себя девушка. И ей никогда не приходилось напоминать о сдержанности Лизель, так как у сестры это качество было врожденным. Ее приводили в ужас ситуации, в которых она привлекала к себе внимание. Вот почему Лизель не выходила из дому, кроме как для наших воскресных светских визитов, походов на рынок и ежемесячных поездок в Берлин.

— Думаешь, мальчики могут пристать ко мне? — спросила я, намеренно уставившись на сестру.

Лизель застыла на стуле, выдавая тот факт, что именно это и пыталась сказать.

— А они пристают? — выдохнула она.

— Нет. По крайней мере, я ничего такого не

замечала. — Я сделала паузу. — А что, должна была заметить?

— Никогда. — Лизель была потрясена. — Но если вдруг они пристанут к тебе или выразятся как-то неподобающе, проигнорируй это и сразу расскажи обо всем маме.

— Так и сделаю, — согласилась я и, поведив смычком по струнам, добавила: — Обещаю.

Я не лгала. Ни один мальчик до сих пор не обращал на меня внимания. Но сегодня кое-кто обратил. И я знала, что это вызвало во мне чувства, в которых я не должна признаваться.

Твой секрет я не выдам.

До сих пор у меня секретов не было. И этот я намеревалась сохранить.

Мама вернулась ровно в пять минут восьмого. Мы уже убрали со стола учебники и тетради Лизель и поставили на него нашу старую керамическую посуду со сколами и трещинками, потому как мейсенский фарфор берегли для особых случаев. Я подогрела кастрюльку с *weisse Bohnensuppe* — похлебкой из белых бобов, которую сварила накануне. Мама не позволяла горничным стряпать, и моей обязанностью стало каждый день кормить нас ужином. Готовить мне нравилось, и я справлялась с этим лучше Лизель, у которой вечно то соус подгорал, то мясо не прожаривалось. Как и во время музицирования, я находила успокоение в упорядоченности действий при строгом соблюдении рецепта — в смешивании

положенных ингредиентов ровно так и в таких количествах, чтобы получить желаемый результат. Мама сама учила меня, однако, как и в любых других случаях, она не доверяла ничьим умениям, кроме собственных, а потому прямо с порога, не сняв ни шляпы, ни перчаток, вошла на кухню, чтобы проверить кастрюлю.

— Немного подсоли, — велела она, — и убавь огонь, иначе все превратится в кашу.

Развернувшись, мама удалилась в спальню, а через несколько минут появилась оттуда в домашнем платье и переднике. Темно-русые волосы были скручены в узел на затылке. Я никогда не видела ее с распущенными волосами, даже когда она умывалась; похоже, вдовам не полагалось демонстрировать окружающим свободно висящие локоны.

— Как прошел день в школе? — спросила она, показывая мне, что пора подавать похлебку.

— Хорошо, — ответила я.

Мать кивнула. Интересно, заметила бы она, если бы я сообщила, что школа сгорела дотла? Сомнительно. Она задавала свои дежурные вопросы просто из вежливости. Мой ответ был формальным.

Ели мы молча, посторонние разговоры за столом не одобрялись. Когда я вытерла тарелку хлебом (у меня был отменный аппетит), мать закудаhtала:

— Лена, что я тебе говорила?

Ее отповеди я знала наизусть: «Девочки из приличных семей не макают хлеб в еду, как крестьяне. Если хочешь добавки, попроси».

Я никогда не просила. Если бы я это сделала, то услышала бы, что девочки из приличных семей никогда не просят добавки. Неконтролируемый аппетит обнаруживал недостаток подобающей утонченности.

Мы с сестрой вымыли тарелки и убрали их в буфет. Пока был жив папа, это был час, когда мы старались скрыться с глаз, чтобы родители могли уединиться в гостиной, где мама играла на фортепиано, а отец курил трубку и потягивал свой вечерний Weinbrand¹⁵. Но теперь его нет, и мы уже подросли, так что сестра устроилась на диване, а мама стала проверять, как я исполняю сонату Баха.

По обыкновению, я нервничала. Моя мать, может, и не имела большого опыта игры на скрипке, но у нее был абсолютный слух, а я хотела доказать ей, что исправно занимаюсь каждый вечер, как было велено. Йозефина Фельзинг не приучала нас к дисциплине путем физических воздействий. Ударила она меня всего один раз. Это случилось на уроке танца, мне тогда было десять лет, я отказалась встать в пару с мальчиком, у которого изо рта несло луком. Никогда не забуду, как мать промаршировала ко мне на глазах у других детей и их родителей, чтобы влечь унижительную пощечину, сопроводив ее внушением: «Мы не проявляем эмоций на публике. Это грубо». С тех пор я изо всех сил старалась не провоцировать ее. Хотя вошедшие в поговорку розги она не применяла, ее язык мог доставить столько же мучений, а по отношению к лени у нее было еще меньше терпения,

чем к грязи или хамству. «Tu etwas» был ее девиз: «Делай что-нибудь». Мы запомнили, что праздность — это самый страшный грех, которого необходимо избегать любой ценой.

Я закончила сонату без ошибок. Мама откинулась на спинку скамьи, стоявшей перед фортепиано.

— Лена, это было великолепно, — произнесла она с чувством, какого никогда не выказывала, если только я не превосходила ее ожиданий.

На душе стало легко. Материнская похвала была столь большой редкостью, что я испытала гордость, будто совершила подвиг.

— Ты занималась, — продолжила она. — Это заметно, но нужно развиваться дальше. Пройдет немного времени, и мы организуем прослушивание, чтобы ты получила стипендию на учебу в Веймарской консерватории.

— Да, мама, — кивнула я.

Эта престижная консерватория в Веймаре была ее мечтой, не моей. Мать верила, что талант проложит мне дорогу к карьере концертирующей солистки, а мое мнение на этот счет ее не интересовало. Девочки из хороших семей делают то, что велят им матери.

— А ты, моя дорогая? — взглянула мать на Лизель, которая в конце моего выступления заплодировала. — Не хочешь что-нибудь исполнить для нас на пианино?

Очевидно, возмущенно подумала я, мнение сестры имело значение, потому что, когда она ответила: «Простите, но у меня болит голова», мама вздохнула и

закрыла на ключ крышку инструмента со словами: «Тогда тебе нужно лечь в постель. Уже поздно, а нам всем завтра рано вставать».

Раньше, чем обычно? Про себя я застонала. Это означало, что для нас есть работа по дому, которую мы должны сделать до того, как я уйду в школу, а мать на службу. Убирая скрипку в чехол, я сердито размышляла: зачем мы вообще держим горничную? Если учесть наши ежедневные обязанности и мамин вечерний ритуал — могу поспорить, ей не терпелось отправить нас по кроватям, чтобы атаковать паркет в прихожей, — плата горничной была, разумеется, еще одной бессмысленной тратой.

— Прежде чем мы разойдемся, — сказала мама, — у меня есть важная новость.

Я замерла в изумлении. Новость?

Мы ждали, а мать смотрела на свои натруженные руки, которые уже не могло оживить никакое количество кремов и лосьонов, — видимое доказательство того, что Вильгельмина Йозефина Фельзинг, известная в обществе как вдова Дитрих, постепенно опускалась. Она продолжала носить золотое обручальное кольцо, которое с трудом пролезало сквозь распухшую костяшку пальца, и сейчас покрутила его другой рукой. Что-то в ее жесте вызвало у меня нервное напряжение.

— Я снова выхожу замуж, — выдала она.

Лизель так и обмерла, а я недоверчиво спросила:

— Замуж? За кого?

Мать нахмурилась. Я сжалась в ожидании отповеди,

мол, дети не должны задавать таких вопросов старшим, но она ответила:

— За герра фон Лоша. Как вы знаете, он вдовец, детей у него нет. Тщательно все обдумав, я решила принять его предложение.

— За герра фон Лоша? — Я была ошарашена. — В доме которого ты убираешь?

— Я там не убираю. — Хотя мать не повышала голоса, тон ее стал резким. — Я наблюдаю за его содержанием. Я Haushalterin¹⁶. Убирают горничные, а я слежу за ними. Ты, Лена, закончила задавать вопросы?

Я не закончила. В голове у меня крутилась еще сотня, но я лишь сказала:

— Да, мама, — и отступила к сестре, полагая, что только что заслужила свою вторую в жизни пощечину.

— Свадьба будет в следующем году, — объявила мама и встала, огладив руками передник. — Я попросила время на подготовку, и он его дал. Прежде всего я, конечно, должна поставить в известность бабушку и дядю Вилли, чтобы они дали свое благословение и представляли меня у алтаря. Вот почему завтра мы должны встать пораньше. Я пригласила их в гости. Пока они не приехали, мы много чего должны сделать, если хотим привести этот дом в порядок.

Если она не собиралась переставлять мебель, я не могла придумать, что еще мы могли предпринять. Каждую субботу после похода на рынок мы отскребали всю квартиру, забираясь в каждый уголок

и в каждую щелочку, которую обошла своим вниманием горничная. И все равно, как бы мы ни начищали квартиру, всем было видно, что, в отличие от дома бабушки и дяди Вилли, наше жилище — съемное, хотя и неплохое, но отнюдь не роскошное. Однако я не смела больше произнести ни слова, меня слишком потрясла неожиданная новость.

Мама снова выходит замуж. У нас с Лизель будет отчим — чужой человек, которого нужно уважать и слушаться.

— Мы еще не решили, где будем жить, — сказала мама, — но, полагаю, после свадьбы переедем в его дом в Дессау. На следующей неделе я отправлюсь туда посмотреть, подойдет ли нам это. А вы пока никому ничего не говорите. Не хочу, чтобы соседи начали сплетничать раньше времени или уведомили домовладельца, что мы скоро съедем. Это понятно?

— Да, — хором отозвались мы с Лизель.

— Хорошо, — попыталась улыбнуться мама, но с ней это случалось так редко, что вместо улыбки вышла какая-то гримаса. — А теперь умойтесь и произнесите молитвы.

Мы отвернулись, чтобы выйти, как она окликнула меня:

— Лена, не забудь вымыть за ушами.

Лизель молчала все время, пока мы по очереди совершали вечерний туалет в нашей тесной умывальной комнате, раздевались и забирались в одинаковые узкие кровати. Нас разделяла тумбочка, я могла бы протянуть руку и дотронуться до сестры, но

не сделала этого, легла на спину и уставилась в потолок.

Услышав возню матери в прихожей с ковриками и воском, я прошептала:

— Зачем она это делает, в ее-то возрасте?

— Ей всего тридцать восемь, — вздохнула сестра. — Это не так много. Герр фон Лош — полковник королевских гренадеров, как и папа. Должно быть, порядочный человек.

— По-моему, тридцать восемь — это достаточно много, — возразила я. — И откуда нам знать, что он порядочный? Она следит за его горничными. Что она может знать о нем, кроме того, сколько крахмала уходит на его рубашки? — Голос мой стал тверже. — И Дессау так далеко, что мне придется уйти из школы.

— Лена, — повернулась ко мне Лизель, ее глаза казались двумя дырками, проткнутыми во тьме, — ты не должна допытываться что да как. Она делает все, только чтобы нам было лучше.

В этом я почему-то сомневалась. Выйти замуж за незнакомца и перевернуть все наше существование — разве кому-нибудь от этого станет лучше, за исключением ее самой и герра фон Лоша?

— Когда женщина одинока, это ужасно, — продолжила Лизель. — Тебе не понять, но быть вдовой с двумя дочерьми — это проверка на прочность.

Сестра отвернулась и подтянула одеяло к подбородку. Через несколько минут она уже сладко посапывала. Ничто в ней не возмущалось. Что бы

мама ни говорила и ни делала, Лизель всегда со всем соглашалась. Кабинет тут или там — какая ей разница?

У меня же были свои интересы. И свой секрет.

Комкая в кулаках одеяло, я долго не могла уснуть.

¹⁴ Губернатор (нем.).

¹⁵ Бренди, производимый в немецкоязычных странах.

¹⁶ Экономка (нем.).

Глава 3

Выходные я пережила с трудом. Мама не могла не заметить моего состояния, особенно когда Лизель прошептала: «Хватит сверкать глазами!»

Однако от каких-либо наказаний мать воздержалась и заставила нас намывать всю квартиру, включая полы и окна, прежде чем получила известие, что дядя Вилли приехать не сможет. Вместо этого, к моему удовольствию, она сообщила, что мы поедem повидаться с ним в Берлин.

В этом городе мне очень нравилась улица Унтерден-Линден — широкий бульвар с роскошными торговыми центрами. Тут мы посетили часовую компанию «Фельзинг», которой управлял дядя Вилли. Обрадованный нашим появлением, он отвел нас в confiserie¹⁷ за ванильными пирожными и марципанами, а потом в кафе «Бауэр» на Фридрихштрассе, где мы взяли по чашке горячего шоколада. Я была ненасытной сладкоежкой, и мама, несмотря на всю ее строгость за столом, потакала этому моему греху, так как девушка, не лишенная плоти на костях, тем самым доказывала, что происходит из здоровой семьи. Я съела свою порцию, но, кроме того, хотя сестра и сверлила меня полным

ужаса взглядом, тихонько завернула в носовой платок несколько марципанов и спрятала их в карман, пока дядя Вилли оплачивал счет.

Мама ни словом не обмолвилась о предстоящем браке, по крайней мере в нашем присутствии, хотя в какой-то момент я поняла, что дядю Вилли она обо всем уведомила. Мать не считала нужным обсуждать с нами свои решения, и, разумеется, мы находились не в том положении, чтобы подвергать их сомнениям.

Однако во мне разыграл бунтарский дух. На следующей неделе я ощутила такую беспомощность перед неотвратимыми изменениями в собственной жизни, что совершенно перестала притворяться и в школе открыто соперничала за внимание мадемуазель Бреган. Я первой сдавала безупречно выполненные домашние задания, первой поднимала руку и отвечала на любые вопросы, при этом не реагировала на сердитые взгляды одноклассниц, когда мадемуазель хвалила меня за прилежание.

— Пусть Мария будет для всех примером, — обращалась к девочкам учительница, одаривая меня вожделенной улыбкой. — Она показала, что при должном старании заговорить по-французски может любой.

Как и подозревали многие, я взяла старт, имея преимущества, которых другие были лишены, и не заботилась о том, чтобы расположить к себе класс, — мне было не до того. Я хотела лишь одного: вызвать симпатию у мадемуазель Бреган. Марципаны, прихваченные в кафе, стали маленькими подарками:

завернув сладкий шарик в обрывок кружевной салфетки и украсив маковыми зернышками, я каждый день оставляла его после урока на учительском столе. А когда моя наставница восклицала: «Какая ты заботливая!» — я опускала глаза и бормотала: «De rien¹⁸, Mademoiselle». То, что в кармане марципан помялся и отмок, не имело значения. Важным было лишь выражение моей благодарности.

Однажды на той же самой неделе мама отправилась в Дессау, чтобы проверить, может ли дом фон Лошей стать нашей новой семейной резиденцией, — а это означало, что вернется она поздно, — мадемуазель пригласила меня на прогулку. Хотя я и обещала, что после школы сразу пойду домой помогать Лизель с ужином и другими домашними делами, — как и было предсказано, очередная горничная уже упаковала чемоданы, — однако осталась ждать учительницу за воротами. Она вышла в соломенной шляпке-канотье и с сумкой, полной книг.

— Ну что, пойдём? — сказала мадемуазель, и я безропотно побрела рядом с ней на бульвар.

Мимо шли дамы в туго зашнурованных платьях, с зонтиками от солнца и собачками на поводках, джентльмены в котелках и с золотыми часовыми цепочками, свисавшими из жилетных карманов; усталые гувернантки тянули на буксире своих отчаянно упирившихся подопечных. Кто угодно из этих людей мог быть знаком с моей мамой. Несмотря на близость к Берлину, Шёнеберг оставался гарнизонным городком, где кайзер размещал войска.

Все друг друга знали. Я опустила глаза и, прикрываясь полями шляпки, думала лишь о том, чтобы пройти не узнанной в школьной форме. К моему облегчению, никто не обращал на нас особого внимания, мужчины приподнимали головные уборы, а женщины негромко произносили свои дежурные guten Tag¹⁹.

— Давай выпьем кофе, — предложила мадемуазель, остановившись у кафе на углу, и села за уличный столик с мраморной столешницей.

Я устроилась напротив — и тут заметила, что при дневном свете она еще симпатичнее, чем в классе: в глазах орехового цвета виднелись зеленые крапинки, а губы были такие же розовые, как лента на шляпке. Кшее прилипли несколько выбившихся из узла тонких локонов. Мне пришлось вцепиться руками в колени, чтобы подавить в себе желание дотянуться и отлепить их от ее кожи.

Мадемуазель Бреган сделала заказ, и официант нахмурился:

— Кофе для девочки?

— Какая я глупая! — рассмеялась она. — Марлен, ты будешь шоколад или лимонад?

— Нет, благодарю вас. — Я выпрямила спину. — Кофе подойдет.

Я никогда еще не пробовала кофе. Мама пила чай. Настоящие леди пили только чай. Несмотря на популярность, кофе, по словам мамы, был иностранной причудой и от него кисло во рту.

Пока мы ждали свой заказ, мадемуазель вздохнула, сняла канотье и провела рукой по волосам, отчего еще

несколько прядей высвободились из узла и теперь обрамляли ее лицо.

Без всякой подготовки она произнесла:

— Ну расскажи мне, что тебя тревожит.

— Тревожит? — перепугалась я. — Меня? Ничего, мадемуазель.

Кроме одного: я сидела с ней в кафе на бульваре и боялась, что кто-нибудь из маминых знакомых может нас увидеть.

— Ну нет, — погрозила она пальчиком. — У меня достаточно опыта, чтобы определить, когда ученик пытается что-то скрыть.

— Опыта?

— Да.

Официант поставил перед нами две чашки с какой-то черной жидкостью и налил для мадемуазель Бреган сливок из кувшинчика. Моя спутница кивнула ему и протянула кувшинчик мне:

— Со сливками не так горько. И добавь сахара. — Когда я это сделала, она продолжила: — Прежде чем прийти работать сюда, я была гувернанткой в большом доме. У меня было три воспитанницы, и я вижу, когда девочке страшно рассказать, что у нее на уме.

На миг меня парализовало, я подумала: она видит меня насквозь, марципановые подарки и погоня за ее вниманием выдают меня. Но потом поняла, что мадемуазель Бреган не выглядит ни сердитой, ни расстроенной.

Взирая на меня со спокойной искренностью, она

проговорила:

— Обещаю, что бы ты мне ни рассказала, это останется между нами.

— Как... секрет? — спросила я и отхлебнула кофе; вкус у него был как у расплавленного сладкого бархата.

— Если хочешь. Un secret entre nous²⁰.

Мой французский, может, и был хорош, но не настолько, чтобы описать всплеск эмоций. Я не хотела использовать в своих целях ее удивительную вольность в общении, меня восхищал сам факт этой вольности. До сих пор никто не интересовался моими чувствами и еще меньше — сокровенными мыслями. Вдруг у меня в ушах раздался шипящий шепот, будто мать сидела совсем рядом. *Мы не проявляем эмоций на публике.* Я оторвала взгляд от лица мадемуазель Бреган и пробормотала:

— На самом деле ничего особенного.

Ее рука накрыла мою. Она была такой нежной, что ощущение тепла распространилось по всему моему телу, до пальцев ног.

— Прощу тебя. Я хочу помочь, если смогу.

Неужели я настолько неумело скрывала свои чувства? Или причина в том, что до сих пор никто не соизволил посмотреть на меня как на существо, переживания которого достойны внимания?

— Дело в... моей матери. Она собирается снова выйти замуж.

— И это все? Но у меня сложилось впечатление, что тут должно быть что-нибудь еще.

— Что, например?

Мне было боязно узнать, о чем она догадалась, и я приготовилась услышать, что моя привязанность хотя и льстит ей, но едва ли уместна в отношениях между учеником и учителем.

Вместо этого мадемуазель Бреган сказала:

— Я думала, тут замешан мальчик, который тебе нравится, или, возможно, какие-то женские проблемы.

Эвфемизм был мне понятен, и я покачала головой. Первая менструация случилась у меня три месяца назад.

— Значит, тебя тревожит только замужество матери? Но почему? Тебе не нравится ее поклонник?

— Я его не знаю. Отец умер, когда мне было шесть лет. До сих пор о свадьбе знали только мама, моя сестра и я...

Не успев ничего понять, я выложила ей все о герре фон Лоше и ужасавшем меня переезде в Дессау, о моем таланте к игре на скрипке и маминых амбициозных мечтах видеть меня студенткой консерватории. Я совладала со своим порывом только тогда, когда уже готова была признаться, что сама мадемуазель Бреган тоже представляет для меня проблему, потому что нет слов, чтобы объяснить, какие чувства она во мне вызывает, но что я не хочу уезжать никуда, где буду находиться вдали от нее.

Она между тем маленькими глотками пила кофе и после продолжительной паузы сказала:

— Я понимаю, как могут страшить тебя предстоящие изменения. Mon Dieu, как я это

понимаю! Но мне не кажется, что у тебя есть серьезные причины для беспокойства. Твоя мама, похоже, порядочная женщина, и она нашла мужа, который будет о ней заботиться. Ты ведь хочешь, чтобы она была счастлива? А Дессау вовсе не так далеко. Я уверена, там тоже есть школы, с другими детьми. — Она помедлила. — Ты здесь ни с кем не подружилась. Эта темноволосая девочка, что сидит рядом с тобой, — Хильда, все время пытается привлечь твое внимание, но ты ведешь себя так, будто она невидимка.

Правда? Я ничего не замечала. Но я в то время вообще ни на что не реагировала в школе, кроме мадемуазель.

— Эта девочка очень похожа на тебя, — продолжила учительница, — такая милая и сообразительная. А что? Ты могла бы иметь сотню друзей, если бы захотела. Но ты ведь никогда даже не пыталась?

Разговор принял неудобный поворот. Я не хотела обсуждать отсутствие у меня друзей, я хотела...

Мадемуазель Бреган указала на мою чашку:

— Пей, а то остынет.

Пока я заглатывала еле теплый кофе, она смотрела на меня с такой искренностью и проницательностью, что это приводило меня в замешательство и заставляло предполагать в ней способности читать мои самые потаенные мысли.

— Ты когда-нибудь была в cinématographe?²¹

— Где?

Ее вопрос меня озадачил, я представления не имела, о чем она говорит.

— Движущиеся картинки. Фильм.

Термин был мне известен, но никаких фильмов я ни разу не видела. Мама этого не одобряла.

— Ты не была. Великолепно! Тут неподалеку есть один. Не такой большой, как в Берлине, но и не настолько дорогой. Он находится в зале кабаре, и там в будни по вечерам показывают фильмы. Хочешь пойти? Я обожаю кино. Полагаю, это развлечение новой эпохи, в сравнении с которым театр вскоре будет казаться устаревшим. Картина «Der Untergang der „Titanic“»²². Ты знаешь, о чем это?

Я кивнула:

— «Титаник» затонул после столкновения с айсбергом.

Это я помнила, потому что два года назад, когда произошла трагедия, каждый мальчишка-газетчик дни напролет выкрикивал похожий заголовок.

— Именно так, — сказала она. — Многие погибли. Это должен быть очень интересный фильм. Его выпустила компания «Континентал-Кунстфильм» в Берлине. Там строят для съемок целые студии. — Мадемуазель Бреган сделала знак официанту принести счет и добавила: — Если поторопимся, то успеем на первый сеанс.

Я знала, что нужно отказаться, поблагодарить за кофе и советы и вернуться домой, пока не поздно. Лизель будет беспокоиться, расскажет маме, что я задержалась, и...

Мадемуазель положила на блюдечко монеты вместе с чеком и встала, протягивая мне руку:

— Быстро, Марлен. Нам надо поспешить на Stadtbahn!²³

Как я могла устоять? Схватив учительницу за руку, я позволила сбить себя с пути.

Я плакала.

Не могла сдержаться. Печаль, смешанная с изумлением, обострила мою чувствительность, и предел был перейден, как только на провисающей простыне, прикрепленной к стене в качестве экрана, ожили зернистые образы: затерянный в океане титан, застывшие на палубе в ожидании своей участи мужчины, теснящиеся в спасательных шлюпках женщины — свидетели катастрофы. В один момент я даже схватила мадемуазель за коленку — настолько меня ошеломило зрелище. Я забыла, что, хотя мы и находимся в темном зале, пропахшем пивом и сигаретным дымом, вокруг нас сидят люди. Их приглушенные возгласы и отпускаемые шепотом замечания усиливали впечатление от немного изображения.

После фильма я впала в оцепенение.

— Разве это не было величественно? — обратилась ко мне мадемуазель, ее лицо светилось. — Я хочу когда-нибудь оказаться там.

— На «Титанике»? — выдала я из себя, стараясь отделаться от ощущения, что меня забросили в

открытое море и заставили следить за тем, как мои любимые люди тонут в черной холодной воде.

— Нет, глупышка. Там. На экране. Я хочу быть актрисой, вот почему покинула Париж и приехала сюда. Я буду работать учительницей, пока не накоплю достаточно денег, чтобы снять угол в Берлине. В наши дни жить там ужасно дорого — это самый деловой город в мире, и мне нужны дополнительные средства, чтобы платить за комнату и уроки актерского мастерства.

Пока мы ждали трамвай, она снова взяла меня за руку и сказала:

— Теперь нам обоим известны секреты, которые нужно сохранить. Я только что открыла тебе свой.

Мне страшно хотелось спросить, есть ли у нее кто-нибудь, кого она любит или по кому скучает, кого оставила во Франции в погоне за своей мечтой. Но я не могла развязать язык и сплести нужную фразу, к тому же очень скоро мы снова оказались на бульваре, где новое электрическое освещение бросало сероватый отблеск на праздные толпы в пивных и кафе.

Мы быстро шли к закрытой школе.

— Я живу там. — Мадемуазель Бреган махнула рукой в сторону боковой улочки, которая вилась вдоль обветшалых домов. — Но могу проводить тебя и объяснить маме, почему ты задержалась... — Озорная улыбка тронула ее губы. — Нам придется сказать, что ты не успела вовремя выполнить задание. А это может означать, что твоя мама будет недовольна.

«Недовольство, — подумала я, — это самое меньшее, чего можно ожидать».

— Спасибо, не надо. Она сегодня работает допоздна. Ее, скорее всего, сейчас нет.

Хотя казалось, что прошла целая вечность, фильм длился всего сорок минут. Я получу выговор от Лизель, тут сомневаться не приходится, но мамы дома не будет как минимум до девяти.

— Ах да, я забыла, она ведь в Дессау. Ну, тогда ладно. Если ты уверена, что дойдешь спокойно.

— Да, уверена.

Я начала делать реверанс, но мадемуазель Бреган обняла меня. От нее пахло потом с легким оттенком лавандовой воды и кофе, и еще ее одежда пропиталась едким запахом кабаре. Я растаяла в ее объятиях.

— Merci, Mademoiselle.

— Mais non, ma fille²⁴. — Она взяла меня за подбородок и, расцеловав в обе щеки, сказала: — Зови меня Маргарита, когда мы будем одни. Женщины, у которых есть секреты, должны подружиться, oui?

Повернувшись, она ушла. Тени от постепенно смыкающихся зданий погружали во мрак ее путь. Почти уже скрытая тьмой, мадемуазель Бреган оглянулась и помахала мне:

— A bientôt, mon amie Marlene!²⁵

Я не хотела, чтобы она уходила. Может, я больше никогда не буду умываться, чтобы не смывать ее запах со своих рук. Идя домой, я все время подносила ладони к лицу, чтобы вдыхать его, хотя к вечеру сильно похолодало.

Июльское тепло покинуло нас.
Я больше никогда не увижу Маргариту Бреган.

¹⁷ Кондитерская (фр.).

¹⁸ Ничего (фр.).

¹⁹ Добрый день (нем.).

²⁰ Секрет между нами (фр.).

²¹ Кинематограф (фр.).

²² «Гибель „Титаника“» (нем.).

²³ Городская железная дорога (нем.).

²⁴ — Спасибо, мадемуазель.

— Не за что, девочка моя (фр.).

²⁵ До свидания, друг мой Марлен! (фр.)

Глава 4

— Она ушла, — сказала Хильда. — Почему — я не знаю.

Мы беседовали во дворе, после того как фрау Беккер сообщила, что уроков французского не будет ни сегодня, ни в обозримом будущем.

Встревоженная необъяснимым отсутствием мадемуазель, я подошла к Хильде, худенькой темноволосой девочке, которая сказала мне «Parfait», в смысле «превосходно», и жаждала встретиться со мной взглядом. Она ухватилась за возможность побыть моей наперсницей, однако, к сожалению, ничего, что могло бы пролить свет на это загадочное изменение хода событий, сообщить не могла.

Мы сидели рядом, а девочки, довольные, что образовался внезапный перерыв в занятиях, прыгали через веревочку. Я нащупала в кармане последний марципан, вытащила его и протянула Хильде: — Вот, возьми.

— О! — обрадовалась она и приняла его, как будто это была жемчужина. — Спасибо, Мария.

— Марлен, — поправила я, расчищая в памяти место для мадемуазель. — Меня зовут Марлен.

— Правда? А я думала, ты Мария... — пожала она

плечами, жуя марципан. — Марлен — такое странное имя, но и приятное тоже.

— Ты на самом деле ничего не слышала? — снова спросила я. — Как она могла вот так просто взять и уйти? Она же замещала мадам. Несколько недель ушло на то, чтобы найти ее, и пробыла она здесь не дольше.

Хильда помолчала, обдумывая мои слова.

— Может, это как-то связано с войной?

— С войной? — устала я на нее в недоумении. — Но тут нет войны.

— Пока нет, — сказала Хильда и засверкала глазами, как человек, обладающий какими-то важными сведениями, в отличие от ее новой подруги. — Но ходили слухи, что кайзер объявляет войну против... — Она сдвинула брови. — Ну, я точно не знаю, против кого, но мой отец служит в пехоте, и на прошлой неделе он написал матери, что его полк мобилизован и война неизбежна.

— А я ничего об этом не слышала, — твердо заявила я, хотя особой уверенности не ощущала.

Да и откуда мне было знать? Если бы война уже разразилась и бушевала на каждой улице за пределами нашей квартиры, моя мать оставалась бы невозмутимо спокойной и глухой ко всему, пока вражеские солдаты не начали бы ломиться в нашу дверь.

Я содрогалась от страха при мысли, что кто-то мог увидеть нас вместе и донести на мадемуазель нашей Schulleiterin, директрисе. Задерживать подопечных после уроков, чтобы исправить какие-то недочеты,

было допустимо, но повести ученицу в кофейню и в кино — такое могло послужить поводом для увольнения. Не стала ли я скрытой причиной загадочного исчезновения мадемуазель Бреган?

Если так, я не могла оставаться здесь.

— Tu etwas, — сказала я и, схватив ранец, вскочила на ноги.

Хильда вылупилась на меня с отвисшей челюстью, к ее подбородку прилипли марципановые крошки.

— Куда ты собралась?

— На улицу.

Я начала пересекать школьный двор, но Хильда дернула меня назад за ляжку ранца: — Марлен, ты не можешь уйти. Последний звонок еще не давали. Ворота заперты.

— Dumme Kühe, — выругалась я. — Глупые коровы. Это школа или тюрьма?

— И то и другое, — сказала Хильда, и я вдруг невольно заулыбалась: несмотря на непримечательную внешность, эта девчужка была довольно остроумна. — Но задние ворота никогда не запирают, — продолжила она. — Пожарный инспектор сказал, что их нужно держать открытыми на случай каких-нибудь чрезвычайных происшествий. А так как все здесь... — Она усмехнулась.

Мы вместе прокрались через почти пустое здание школы к задним воротам. Они выходили на пыльную дорогу вдоль заброшенного поля, еще недавно главной достопримечательности Шёнеберга. Теперь на месте, где выращивали картошку и салат, росли

новые дома — дешевые строения, предназначенные для той части населения, которая не вместились в Берлин. Я вспомнила, что говорила мадемуазель о своих устремлениях. Может быть, наше вчерашнее приключение подсказало ей, что надо отбросить осторожность и отправиться в город, названный «самым деловым» в мире?

Дорога вела в боковую улочку, на которой, по словам мадемуазель Бреган, она и жила. Но как только мы ступили на выложенную неровным булыжником мостовую, где развались дремали бездомные собаки, а тщедушные дети, сидя на корточках, играли с камушками, сердце у меня упало. Я не видела, чтобы наша беглянка подходила к какому-то конкретному зданию, и понятия не имела, который из этих ветхих домишек, где сдаются внаем меблированные комнаты, — ее.

— Ну что? — спросила Хильда.

Я не могла не восхититься отвагой своей новой приятельницы: она, ни минуты не колеблясь и не испытывая угрызений совести, провела нас к выходу, хотя ей, так же как и мне, грозило суровое наказание.

Раздраженно выдохнув, я ответила: — Она пошла сюда, но...

До нас долетел отдаленный шум — топот марширующих сапог и крики. Я, замолчав, в изумлении обернулась к Хильде, а она воскликнула: — Началось!

Хильда побежала по боковой улочке к главной, призывая меня следовать за ней. Я быстро обернулась

через плечо в надежде, что внезапная суматоха встревожит местных жителей. Однако только ленивые собаки приподняли уши да под окнами, из которых никто не выглядывал, ветер раскачал на провисших веревках стирание белье.

Отдуваясь, я остановилась рядом с Хильдой. Тротуар перед нами заполнили пешеходы, а по центру улицы, размахивая флагами и знаменами с изображением кайзеровского черного орла, валила толпа. Большинство демонстрантов были молодыми, в рубахах с закатанными до локтя рукавами, — рабочие и прочий люд с близлежащих фабрик, — обычный сброд, фыркнула бы мама. Они распевали: «Святой огонь, пылай! Гори, не угасай. За родину отцов любой из храбрецов с охотой готов рвануться в бой — за трон и рейх!»

— Это же «Heil dir im Siegerkranz»!²⁶ — крикнула мне в ухо Хильда. — Видишь! Мы воюем!

Я не могла в это поверить. Демонстранты шли плотной ордой, а тем временем женщины с зонтиками от солнца и собачками на поводках, важные господа в котелках и гувернантки с разинувшими рты детьми аплодировали и приветственно потрясали в воздухе кулаками, как будто в город приехал цирк.

— Они обезумели? — спросила я, но никто меня не заметил.

Пение стало оглушительным. Оно разносилось эхом по широкой улице и поднималось к взъерошенному облачному небу, так что мы едва слышали слабый звук школьного звонка.

— Нас сегодня отпускают раньше, — ахнула Хильда. — Побежали!

Она потащила меня сквозь толпу, пихаясь что было силы и расчищая нам дорогу. Таким манером мы добрались до приоткрытых ворот, за которыми теснились школьницы, желавшие посмотреть на шествие: глаза у всех были вытаращены, несоразмерно большие банты покачивались на головах, а учителя пытались не дать воспитанницам вырваться наружу.

Фрау Беккер заметила нас.

— Хильда, Мария! — грозно заревела она. — Немедленно зайдите внутрь!

Мы протолкались за ворота мимо других девочек и заработали каждая по щипку за ухо от учителей.

— Как вы посмели выскользнуть туда? — потребовала ответа фрау Беккер. — О чем вы только думали?

Хильда покосилась на меня. Педагоги полагали, что мы оказались снаружи, когда были открыты ворота, поэтому я быстро ответила: — Мы только хотели узнать, что случилось. Далеко не уходили.

— Вы зашли слишком даже далеко, — возразила фрау Беккер. — Я вынуждена сообщить обо всем директрисе. Какая дерзость с вашей стороны убежать, когда мир вот-вот взорвется!

— Взорвется?!

Внезапно мнимая война стала пугающе реальной.

— Да. Его императорское величество поклялся отомстить за убийство австрийского эрцгерцога

Франца Фердинанда. Германия должна защитить свою честь. Но как бы там ни было, война или нет, а ни одной девочке не позволено так нарушать дисциплину.

Фрау Беккер отвела меня и Хильду в кабинет директрисы. Пока нас подвергали суровой словесной выволочке, в результате которой мы получили неделю дополнительных уроков и лишились свободного времени во дворе, — прямо за воротами школы весь наш народ с головой погрузился в катастрофу.

²⁶ Императорский гимн в Германской империи с 1871 по 1918 г.

Глава 5

«Должна ли я?»

Мои пальцы замерли. Я посмотрела вниз, где у ног стояла корзина с пряжей от распущенных старых свитеров, которую я должна была превращать в перчатки, шарфы, шапки, и меня охватило отчаяние, а вечно голодный желудок тоскливо сжался.

— Ты что же, хочешь, чтобы наши храбрые мужчины страдали от обморожений, потому что ты устала? — сказала мама. — Мы должны это делать — это наша жертва в ответ на их жертвы. Перестань киснуть и закончи шарф. Я передам его на фронт с медсестрами запаса.

Я едва сдержалась, чтобы не глянуть на Лизель, выкатив глаза. Она тоже сидела за шитьем в похожей на пещеру гостиной резиденции фон Лошей в Дессау, куда мы переехали после того, как кайзер объявил войну.

К моему облегчению, с полковником мы контактировали крайне мало — вскоре ему пришлось отбыть по долгу службы, а за время недолгого общения я нашла его человеком чопорным и без чувства юмора. Обращаясь к матери, он неизменно называл ее «фрау», а нас с Лизель едва замечал, как

будто мы были всего лишь еще парой чемоданов, которые его жена привезла с собой. В те первые несколько недель мы старались не попадаться ему на глаза и не нарушать строгого обеденного церемониала, который требовал от нас сидеть за столом и говорить как можно меньше, пока фон Лош с важным видом разглагольствовал о прусской чести и необходимости защищать ее. Мама продолжала вести себя так, будто она все еще его служанка, а не женщина, с которой он собирался вступить в брак. Меня это удивило, но, когда полковник уехал, они так и не были женаты. Про себя я пыталась отгадать, почему мама настояла на нашем переезде сюда, но спрашивать не решалась. Как могла Йозефина Фельзинг жить без церковного благословения под одним кровом с мужчиной? Но ведь на самом деле она с ним и не жила. Он уехал биться за империю, и внешне все выглядело так, будто она по-прежнему его домоправительница, только теперь следит за именем в Дессау. Должно быть, причиной были деньги, хотя мать скорее умерла бы, чем признала это. Мы не могли позволить себе снимать жилье, если бы она не работала, поэтому вынуждены были отправиться туда, куда нам приказал герр фон Лош. Мне это не нравилось. Унылое раболепие матери смущало меня, как будто я случайно застала ее за спешной и тайной починкой нижнего белья. Теперь я начала понимать, что имела в виду Лизель, когда говорила о женском одиночестве: несмотря на то что мать превозносила имя нашей семьи, заслуженно и уместно, мы вовсе не